

МЕЖДУ ДВУМЯ ЮБИЛЕЯМИ: англоязычная историография отмены крепостного права

История изучения крестьянской реформы и связанных с нею сюжетов насчитывает в зарубежной историографии не одно десятилетие. Для американской исторической русистики, которая в последние полвека занимает ведущее место в западной историографии России, точкой отсчета, пожалуй, является столетие отмены крепостного права. Наряду со статьями в научных журналах оно было отмечено выходом фундаментального тома Дж. Блюма¹ – подробнейшей истории взаимоотношений крестьянина и землевладельца в России на протяжении тысячелетия. Книга сохраняет свое значение и поныне, однако вскоре американская русистика обогатилась новыми исследованиями, посвященными как отмене крепостного права, так и другим Великим реформам, и выполненными в русле новой для того времени исследовательской парадигмы.

Историки-русисты, пришедшие в науку в 1960–1970-х гг., находились под сильным влиянием господствовавшей тогда теории модернизации. Они обратились к изучению российского государства и его аппарата, функцию которого перестали сводить к простому подавлению общественного недовольства. В рамках теории модернизации государство в развивающихся обществах трактуется как главный двигатель прогресса, инициатор индустриализации и социальных реформ, которые должны привести страну к парламентской демократии. Особое значение в этом контексте приобрели Великие реформы. Их признавали «поворотным пунктом» в процессе перехода от традиционного к современному обществу, причем отмена крепостного права, этого «краеугольного камня государственного устройства», сразу же нашла своих исследователей.

Не менее существенным для исследований отмены крепостного права на Западе являлось и влияние русской дореволюционной историографии, либеральной и неонароднической. Но, пожалуй, главной особенностью тогдашней историографии крестьянской реформы, особенно американской, стал тот факт, что большинство исследований создавалось в тесной связи с советской исторической наукой. Самые первые работы были написаны либо под научным руководством профессора МГУ им. М.В. Ломоносова П.А. Зайончковского его стажерами, либо под сильным влиянием его трудов².

Книги Т. Эммонса и Д. Филда об отмене крепостного права стали классикой: в них наряду с мастерским владением источниками, преимущественно архивными, был продемонстрирован фундаментальный аналитический подход к изучению настроений дворянства, бюрократических технологий, хода подготовки реформы. Б. Линкольн создал портрет одного из главных деятелей крестьянской реформы – Николая Милютина – и подчеркнул значение просвещенной бюрократии в подготовке преобразований 1860–1870-х гг. А. Рибер выдвинул новую концепцию, согласно которой осознание необходимости военной реформы послужило толчком для принятия решения об освобождении крестьян. Это была по преимуществу политическая история, столь мало востребованная в то время в СССР. Однако уже в этих работах (особенно у Филда и Рибера) заметен дух ревизионизма, который затем в полную силу развернулся в «новой социальной истории», вскоре занявшей господствующее положение в американской науке. Многие последующие исследования, выполненные в русле социально-исторической парадигмы, создавались как ревизионистские. В них, как правило, подвергался критическому рассмотрению и опровергался какой-либо тезис, считавшийся прежде бесспорным.

* **Большакова Ольга Владимировна**, кандидат исторических наук, заведующая сектором истории России Института научной информации по общественным наукам РАН.

Так были опровергнуты положения о «вымирании» крепостного крестьянства, о помещичьем оскудении в 1840–1850-х гг. Обратившись затем к изучению реализации крестьянской реформы и дальнейшего хода крестьянского дела в России, социальные историки подвергли пересмотру тезисы о ее «грабительском характере», о последующем обнищании крестьянства, о сущности так называемого аграрного кризиса и многие другие³. Остро критиковались и основополагающие для официальной советской историографии тезисы о «кризисе феодально-крепостнической системы хозяйствования» и о крестьянской реформе как «побочном продукте революционной борьбы»⁴.

В 1960–1970-х гг. англоязычные историки сосредоточивались на экономической стороне модернизации, поскольку тогда центральное место в социальных исследованиях занимала индустриализация, которая считалась ключевым фактором в процессе перехода к современному (индустриальному) обществу. Большой вес в эпоху господства экономического детерминизма имела концепция «относительной отсталости», разработанная А. Гершенкроном главным образом на российском материале и уделявшая основное внимание особенностям и этапам индустриализации в «запаздывающих» странах. В экономической по своей сути интерпретации Гершенкрона крестьянская реформа 1861 г. (как и реформы Петра I) была продиктована военной необходимостью и при всех ее недостатках – ограничении мобильности крестьян и сокращении их покупательной способности – явилась, однако же, главной предпосылкой последующего промышленного роста⁵.

Признавая отсталость российской экономики по сравнению с западноевропейскими странами, большинство западных историков и экономистов, тем не менее, и сегодня солидарны с позицией П.Б. Струве, считавшего, что крепостное хозяйство накануне реформы было вполне жизнеспособным и не препятствовало росту аграрного производства. Экономическим аспектам крестьянской реформы много внимания уделялось в британской историографии, что отражало ее большую приверженность к марксизму по сравнению с американской. В работах О. Крисп и П. Гатрелла была во многом уточнена, а в каких-то отношениях и полностью пересмотрена позиция Гершенкрона. В них аргументированно показано, во-первых, что Великие реформы совпали с периодом экономического роста, а не положили ему начало; во-вторых, что крепостное право являлось скорее симптомом, а не причиной общей экономической отсталости страны⁶.

Изучая вопрос об экономических предпосылках отмены крепостного права, западные историки пришли к выводу, что невозможно однозначно подтвердить наличие аграрно-капиталистических тенденций в сельскохозяйственном секторе в России перед Крымской войной и «кризиса крепостнической системы хозяйствования». Например, проведенное специалистами по «новой экономической истории» математическое исследование не подтвердило падения доходности помещичьих хозяйств в 1840–1850-х гг.⁷ Американские историки при рассмотрении предпосылок отмены крепостного права были склонны говорить скорее об «экономических ожиданиях», которые заставили правительство сделать этот важный шаг. В результате на первый план выдвигались мотивы реформаторов, которые во многом зависели от циркулировавших в то время социально-экономических идей и представлений. В этом плане показательным исследование А. Скерпана, который убедительно доказал, что широко распространенное мнение современников о преимуществе свободного труда над подневольным не находит подтверждения в реальности, однако же оно сыграло немалую роль в мотивации освобождения крестьян. Из этих представлений вытекали ожидания экономических последствий отмены крепостного права: свобода передвижения крестьянства для удовлетворения спроса на рабочие руки, рост разделения труда, увеличение потребительского спроса и, конечно, повышение производительности труда. Все это увязывалось с конечной целью реформы – усилением могущества России⁸.

Таким образом, решающую роль для американских историков играли не «объективные причины», столь важные для советской историографии, а мотивы реформаторов, среди которых немалое место занимали внешнеполитические (сохранить статус вели-

кой державы) и внутривластные (в первую очередь поддержание социальной стабильности). Как и в случае с «кризисом феодально-крепостнического хозяйства», они не нашли подтверждения принятому в официальной советской историографии тезису о росте массового крестьянского движения как главном факторе отмены крепостного права⁹. Большее значение для мотивации реформы имело не реальное положение дел, а «настроения» в правительстве и боязнь крестьянского бунта в среде дворянства.

Серьезное значение придавали американские историки и моральным причинам – тому факту, что «владение рабами» признавалось в среде европеизированного дворянства «негуманным» и считалось «национальным позором»¹⁰. Наконец, важнейшим фактором считается осознание обществом и самим императором отсталости и бессилия России перед лицом европейских держав после крымской катастрофы. Военное поражение явилось ускорителем процесса, в результате которого моральные, социальные, политические и экономические идеи и представления, формировавшиеся десятилетиями, выкристаллизовались в реальный политический курс.

Подчеркивая, что отмена крепостного права в России явилась результатом правительственного указа, а не внутреннего разложения самого института крепостничества, американские и британские историки не могли обойти вниманием как фигуру самого императора, осознавшего государственную необходимость реформ, так и чиновников – создателей и вдохновителей законодательства 19 февраля. Роль Александра II и «либеральной бюрократии» в подготовке отмены крепостного права и других реформ 1860–1870-х гг. была показана в работах Б. Линкольна, Н. Перейры, М. Перри и др.¹¹

Особое внимание американских историков всегда привлекал тот факт, что столь масштабная реформа, затронувшая интересы многих миллионов крестьян, а в конечном счете и всего населения страны, была осуществлена мирным путем, «без единого выстрела» в защиту крепостного права. Это выглядит поразительным контрастом при сравнении с жестокой Гражданской войной в Соединенных Штатах¹². Вслед за Д. Филдом они сходятся во мнении, что мирный характер реформы объясняется в первую очередь «монархическими иллюзиями» – еще не ослабевшей верой как дворянства, так и крестьянства в непогрешимость царской власти. Коль скоро отмена крепостного права была инициирована самим императором, российское дворянство без звука распростилось со своими привилегиями (но яростно отстаивало свои экономические выгоды). Кроме того, крепостничество накануне отмены не имело сторонников и какой-либо сильной идеологической поддержки.

Процесс подготовки реформы был подробно исследован в монографиях Т. Эммонса и Д. Филда, которые, как выяснилось, надолго «закрыли» эту тему в зарубежной историографии. Роль дворянства в подготовке и проведении отмены крепостного права на всех этапах противостояния правительства и помещиков с ноября 1857 г. до 1861 г. была рассмотрена Эммонсом. Анализируя деятельность тверского дворянства («известного центра аболиционизма»), исследователь поставил вопрос о русском либерализме, программа которого, судя по всему, начала определяться еще до реформы¹³. Наиболее детально все этапы подготовки крестьянской реформы, в том числе различные программы отмены крепостного права, борьба вокруг принятия основных положений законодательства были рассмотрены в работе Д. Филда. Главная идея Филда заключается в том, что реформа подобного масштаба при столь консервативном режиме могла осуществиться только поэтапно, как следствие законодательного процесса, и в ходе ее подготовки возникали новые предложения, совершенно не предвиденные вначале. Филд отмечает наличие противоречий между дворянством и правительством, дворянством и бюрократией, высшей бюрократией и чиновниками среднего уровня, но указывает при этом, что реформаторы сумели навязать историкам ложную картину. Представляя своих оппонентов как заговорщиков, пытающихся противостоять замыслам царя, они искажали подлинные масштабы дворянской оппозиции. В подобной ситуации любая критика проекта реформы, негодная реформаторам, могла быть представлена как оппозиция царской власти и святому делу освобождения крестьян.

Наряду с другими устоявшимися трактовками Филд поставил под вопрос и представление о том, что сущность процесса подготовки реформы составляла борьба между крепостниками и либералами. Невозможность квалифицировать внутриправительственную борьбу вокруг реформы как противостояние либералов и консерваторов или же «модернизаторов» и «традиционалистов» многократно констатировал и А. Рибер, подчеркнув многополюсность расстановки сил в правительстве и наличие в среде бюрократии нескольких «групп интересов» (interest groups)¹⁴.

Внимание к бюрократическим технологиям и манипуляциям, использовавшимся для решения насущных политических задач, было характерно для американской историографии крестьянской реформы. И это неудивительно, поскольку американская русистика находилась в 1960–1980-х гг. под сильным влиянием исторической социологии М. Вебера, в том числе его концепции бюрократии. Да и сама тема «бюрократия и модернизация» являлась в тот период крайне актуальной и активно разрабатывалась в социальных науках США на материалах развивающихся стран. Политическая культура бюрократии приобретала в этом контексте ключевое значение, и проблемам «бюрократического либерализма» эпохи Великих реформ было посвящено немало работ¹⁵. Наиболее фундаментально эта тема была рассмотрена Б. Линкольном, который отмечал, что мировоззрение и система ценностей творцов реформ наложили отпечаток на все законодательство, определив его во многом узко бюрократический и фискальный характер. При всей своей преданности идее законности, вере в прогресс, просвещенные бюрократы оставались «людьми 40-х годов» и рассматривали преобразование России в духе умеренно инакомыслящего общественного мнения своей эпохи. Механизм «запаздывания», присутствовавший в идеологии просвещенной бюрократии, повлиял, по мнению Линкольна, не только на содержание крестьянской реформы, но и на весь последующий ход исторического развития России¹⁶.

Для англоязычной историографии отмены крепостного права, создававшейся в первые четверть века после его столетнего юбилея, было характерно довольно критическое отношение к великой реформе, которая принесла разочарование и крестьянству, и дворянству. Экономисты традиционно критиковали Положения 19 февраля за сохранение и укрепление общины, за урезание наделов и введение тяжелых выкупных платежей, что, во-первых, ограничивало мобильность крестьянства и формирование рынка рабочей силы, во-вторых, негативно влияло на покупательную способность крестьян и соответственно на развитие рынка для промышленности. Согласно распространенным тогда негативным оценкам, реформа, сохранившая многие социально-экономические черты крепостничества, не могла стать и не стала непосредственным стимулом экономического развития. И здесь даже авторитет А. Гершенкрона, принадлежавшего к лагерю так называемых оптимистов, не брался в расчет. В свою очередь политические историки, подчеркивая стремление правительства сохранить социальную стабильность, с неодобрением указывали на осторожный, консервативный характер крестьянской реформы и одновременно на тот факт, что она не сумела предотвратить революционную трагедию.

В контексте господствовавшей тогда модернизационной парадигмы воспринималось и новое пореформенное устройство. Считалось, что оно не обеспечивало необходимых условий для «социальной и технологической модернизации», усиливая присущее России разделение на 2 общества – европеизированное и традиционное. В частности, одним из важных недостатков реформы признавалось введение крестьянских волостных судов, которые создали механизмы правовой изоляции крестьянства, усилившие его «сословную обособленность». Отвергая упрощенный классовый подход советской историографии, североамериканские, британские, австралийские историки-русисты отдавали предпочтение структурному анализу. Особое внимание они обращали на дисбалансы модернизации и подчеркивали заложенный в крестьянской реформе парадокс: несовместимость ее либеральных принципов с самодержавием, что в итоге и подорвало основы царского режима, не желавшего делиться властью с обществом.

В конечном итоге в основе всех негативных оценок лежало крайне неприязненное отношение к самодержавному режиму, имевшее давнюю традицию. Во многом оно подкреплялось наследием русской дореволюционной историографии, на которое опирались зарубежные русисты. Играли свою роль и достаточно тесные связи с историографией советской, при всем критическом отношении ко многим принятым в ней постулатам. Однако постепенно в американской историографии возникла и укрепилась тенденция более позитивной трактовки отмены крепостного права, что было связано с общим изменением интеллектуального климата в русистике в сторону «потепления» в отношении к самодержавию и его политике. Кроме того, в 1970–1980-х гг. отмечалось постепенное смещение фокуса исследований с экономических сторон модернизации к ее социальным и культурным, а также к политическим аспектам. Глубокий интерес к истории конституционализма и перспективам либерализма в России, всегда присутствовавший в зарубежной русистике, был основательно подогрет в 1980-х гг. возникновением интеллектуальной моды на проблемы построения гражданского общества. В этом контексте освобождение крестьян стало для исследователей одной из предпосылок зарождения в Российской империи гражданского общества, а не «отправным пунктом в движении к революции», как это было раньше¹⁷.

Внимание к социальной и культурной стороне модернизации реализовалось в крестьянских исследованиях – так называемом крестьяноведении (*peasant studies*), получившем большое распространение не только в американской, но и в британской русистике благодаря деятельности Т. Шанина¹⁸. Его концепция о существовании «иных» крестьянских миров, живущих по собственным законам и несовместимых с требованиями европеизированного «прогресса», стимулировала повышенный интерес к изучению российского крестьянства как культурно и экономически автономного класса. Социальные историки в США внесли большой вклад в разработку этой проблематики, исследовав важнейшие формы крестьянской культуры и быта – верования, семью и брак, язык, особенности функционирования общины. Под влиянием книги Д. Филда о крестьянском монархизме, работ Дж. Скотта и других антропологов они изучали формы сопротивления крестьянства и его отношение к власти¹⁹. Крестьянские исследования существенно расширили представления зарубежных историков о дореволюционной русской деревне. Способствовали они и тому, что одной из важных тем в 1980-х гг. стало изучение созданной Положениями 19 февраля системы крестьянского самоуправления и устройства и ее роли в последующем развитии страны. При анализе законодательства крестьянской реформы историки начали подчеркивать, во-первых, его промежуточный характер, и во-вторых, тот факт, что Положения 19 февраля создавались под давлением обстоятельств и ограничивались «самой жизнью»²⁰. В частности, экстраординарная ситуация с финансами (огромный государственный долг, инфляция, неблагоприятный климат для внешних займов и, наконец, крах государственных кредитных учреждений летом 1859 г.) привела к тому, что крестьянам были навязаны жесткие условия выкупной операции, в которой правительство ограничилось ролью посредника, не потратив на великую реформу, по словам С. Хока, «ни копейки». В результате предполагавшейся системе организации сельскохозяйственного производства – наемный труд с использованием аграрных усовершенствований – не суждено было осуществиться²¹.

В интерпретации Ф. Вчисло, ограничения накладывались и нехваткой необходимых «институциональных инструментов» – управленческих структур в деревне. Большинство членов Редакционных комиссий являлись сторонниками мелкого крестьянского землевладения и соответственно противниками сохранения общины. И все же для утилитарных целей – гарантии уплаты налогов и упрочения независимости крестьян, оставшихся один на один со своими бывшими владельцами, – община была сохранена. Однако реформаторы надеялись, что через какое-то время она отомрет в силу естественного хода вещей и последующих административных преобразований²².

Возникновению более позитивных оценок отмены крепостного права в большой мере способствовали результаты исследований экономического положения пореформенного крестьянства. Так, в работе О. Крисп утверждалось, что влияние Положений

19 февраля на покупательную способность крестьянства было не таким уж угнетающим, поскольку выкупные платежи не превышали дореформенный оброк, а часто были и ниже его. Кроме того, необходимость иметь наличные деньги для уплаты обязательств стимулировала развитие рынка²³. Мнение о повсеместном «обнищании» крестьянства поставило под вопрос Э. Уилбур, а австралийский историк С. Уиткрофт показал, что по главным показателям, отражающим уровень жизни крестьян-производителей (в первую очередь производство зерна на душу населения, даже с учетом экспорта), наблюдалось долгосрочное улучшение. В то же время картина не была одномерной, поскольку параллельно наблюдалось столь же долгосрочное снижение уровня оплаты труда сельскохозяйственных рабочих, что требовало серьезного осмысления²⁴. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что российское крестьянство оставалось бедным, западные историки отвергали упрощенный недифференцированный подход и тезис о «неуклонном обнищании» деревни.

Социальные историки в своих исследованиях российской деревни сосредоточивались на изучении внутренних факторов структурного и культурного характера в противоположность «внешнему вызову», который, согласно классической теории модернизации, стимулировал исторический процесс. Это позволило поставить под вопрос считавшиеся прежде незыблемыми истины. В частности, изучение крестьянского правосознания (на материалах волостных судов) опровергало тезис о «сословной сегрегации» крестьянства, якобы заложенной в законодательстве 1861 г. Работы К. Фрайерсон и Дж. Бербанк, далеко не сразу получившие признание коллег и опубликованные с большим опозданием, показали особенности формирования в пореформенной России общенациональной правовой культуры, постепенно приближавшейся к тогдашним европейским нормам²⁵. Была переосмыслена и роль общины, в которой перестали видеть исключительно тормоз, препятствующий развитию аграрного производства²⁶.

Пожалуй, своего апогея американская историография отмены крепостного права в России, как и Великих реформ в целом, достигла к концу 1980-х гг. Тогда прошли несколько чрезвычайно представительных международных конференций с участием российских историков, на которых был подведен итог сделанному за предыдущие 2 десятилетия²⁷. Однако фактически почти не было предложено новых подходов и интерпретаций, и интерес к отмене крепостного права угасал вместе с надеждами на перспективы демократического развития постсоветской России. Изучение Великих реформ и отмены крепостного права оказалось на обочине американской историографии, теряет свое первоначальное значение и социальная история крестьянства.

После распада СССР и окончания холодной войны в американской исторической русистике произошли глубокие перемены, затронувшие как институциональные основы дисциплины, так и ее содержательную сторону. В 1990-х гг. социальная исследовательская парадигма постепенно вытеснялась культурной. Стремительно утрачивала свой интеллектуальный вес и теория модернизации, превращаясь из инструмента анализа в историческое явление, которое само становилось предметом изучения. Так, в монографии Э. Кингстон-Манн была выдвинута гипотеза о складывании в России конца XIX – начала XX в. «культуры модернизации», которая определяла проблематику и угол зрения участников дебатов по аграрному вопросу независимо от их идеологии. И чиновники-реформаторы в царском правительстве, и марксисты в своей приверженности идее прогресса воспринимали и изображали русское крестьянство как «бастион отсталости», который требуется «цивилизовать». Второй важной составляющей «культуры модернизации» являлась проблема частной собственности, которая считалась необходимой предпосылкой для успешного развития любой страны²⁸.

Сосредоточившись на исследовании русской экономической мысли, которая в поисках рецепта для процветания России ориентировалась на западную науку (или отвергала ее), Кингстон-Манн посвятила одну главу своей книги эпохе Великих реформ. Рассмотрение вопроса об общине и частной собственности в дискуссиях и трудах экономистов показало, что проблема была гораздо многозначнее, чем простое противостояние славянофилов и западников. Представленный американской исследо-

вательницей материал свидетельствует о необходимости глубокого изучения интеллектуального климата эпохи во взаимосвязи с политической ситуацией, что дало бы возможность дать новое измерение подготовки крестьянской реформы.

С выдвиганием на передний план «культурной парадигмы» и приходом постмодернизма в американской историографии происходит перенос акцента с объективной реальности на «репрезентации» в изучении аграрной проблематики. Соответственно меняются и поставленные вопросы. Вместо изучения сущности и результатов проводимых самодержавием реформ исследователи русской деревни обращаются к таким темам, как создание образов крестьянства в среде российской элиты и формирование специфического дискурса, который оказывал влияние не только на современников, но и на историографию²⁹. Конечно, во многих современных работах заметна тенденция к «демонизации» образованной («европейской») части общества, которая своим негативным отношением к крестьянству отрезала пути к конструктивному диалогу. Во многом это проистекает из выработанной в социальной истории традиции защищать «угнетенных». Но в то же время эта тенденция отражает присутствующее сегодня в американской историографии отторжение «европоцентристской» теории модернизации, и в более широком смысле – того типа мировоззрения, которое превалировало в научном сообществе в годы холодной войны и являлось прекрасной почвой для процветания этой теории³⁰. Тем не менее при всех полемических перекосах критический взгляд на идеологические модели, циркулировавшие в российском политическом дискурсе, оказывается чрезвычайно полезным для освобождения от застарелых стереотипов и позволяет дистанцироваться от мнения современников.

Культура в упомянутых работах понимается крайне широко, в антропологическом смысле – как система символов и ценностей, которая присутствует в социальных институтах и одновременно определяет идеологию и поведение людей. Однако в книгах, предлагающих «новую культурную историю» России, нередко ощущается нехватка самой культуры того времени – контекста, в том числе и социального, что сильно обедняет их (в особенности это относится к работе Я. Коцониса) и делает авторскую аргументацию недостаточно убедительной.

Синтез социальной, культурной и институциональной истории был реализован в книге К. Годэн о пореформенном крестьянстве Европейской России³¹. Пожалуй, работа канадской исследовательницы – наиболее выразительный пример применения современных подходов и концепций к изучению российской деревни. На обширном статистическом материале она добросовестно изучила крестьянские институты и их повседневную деятельность с целью показать взаимоотношения государства и крестьянства в последние 50 лет существования царского режима. В соответствии с сегодняшними тенденциями Годэн считает, что культурная пропасть между образованной, «европейской» Россией и «отсталым традиционалистским» крестьянством сильно преувеличивалась современниками и по своим масштабам мало отличалась от западноевропейских стран³². Другой исходный тезис исследования также лежит в русле сегодняшних представлений – это интервенционистская политика государства, которая в данном случае определяется как вторжение государства в деревню в эпоху активной индустриализации. В ее трактовке главной целью государственной политики по отношению к деревне в 1880–1910-х гг. было постепенное превращение институтов крестьянского самоуправления в государственные структуры. Отвергая постулат о «закрытости» деревни, Годэн отказывается от изучения специфически «крестьянского» сопротивления и исследует диалог между крестьянами и правительством в лице местных чиновников, который в итоге так и не состоялся. Вину за это она возлагает на элиту, которая не использовала свои возможности и не желала слышать «голоса крестьян», в то время как крестьяне были настроены конструктивно и «искали защиты» у власти.

В целом Годэн отмечает долговременный успех политики правительства по отношению к крестьянству, которое к 1916 г. хорошо знало дорогу в суды, к земскому начальнику, уездную и губернскую администрацию, причем изъяснялось на языке закона и стремилось действовать в рамках закона, в особенности когда речь шла о таких

вещах, как собственность и земельный надел. В книге показано, что понятия общины, собственности, обычая «выковывались в процессе диалога с правительством и изменялись во времени». Автор фиксирует чрезвычайную отзывчивость крестьянства на смену политических настроений в правительстве и новые термины политического дискурса. В своих ходатайствах, петициях и просто в повседневных отношениях с властью крестьяне старались говорить на том языке, который, как они считали, был уместен в данный момент. Однако власть демонстрировала гораздо меньшую гибкость. В то время как юристы-практики, местные чиновники и даже талантливые члены центральной бюрократии были прекрасно осведомлены о том, что представляло собой крестьянство (и пресловутое «обычное право»), политический вес имело понятие «отсталой» и «враждебной» деревни, и в результате высшая элита оставалась полностью глухой к «голосам крестьян»³³.

Крайне немногочисленные современные исследования крестьянской темы посвящены таким аспектам аграрного вопроса, как отходничество и миграция, экономическая и технологическая культура крестьянского земледелия. По-прежнему, хотя совершенно не в том масштабе, как 20 лет назад, изучается русская деревня гендерными историками³⁴.

Что касается самой крестьянской реформы, то работы по этой теме можно буквально пересчитать по пальцам. Среди них заслуживают серьезного внимания статьи С. Хока, выполненные в русле классической социальной истории с ее стремлением «ревизовать» тезисы предшествующей историографии³⁵. Подкрепляя свои выводы статистическими расчетами, Хок вновь опровергает устоявшиеся представления о «вымирании крестьянства» и «грабительском» характере крестьянской реформы. В своем стремлении «реабилитировать» творцов крестьянской реформы он уточняет их изначальные цели, подробно анализируя как само законодательство 19 февраля, так и труды Редакционных комиссий. Хок приходит к выводу, что законодательство содержало в себе ориентацию на мелкого земельного держателя, привязанного к семейному наделу и (часто, но не всегда) к общине, а в отношении выкупных платежей и наделов реформа была «более благосклонна к крестьянам», чем это принято считать. По его мнению, государственная власть вовсе не была сосредоточена на соблюдении интересов помещиков и не ставила своей целью гарантировать им процветание. Итогом реформы стало массовое выравнивание размера наделов и создание самообеспечивающегося крестьянского хозяйства, описанного в свое время А.В. Чаяновым³⁶. Пожалуй, главный итог работы Хока с количественными данными сформулирован им самим: используя более тонкие современные методы статистического анализа, потенциально мы можем получить совсем иную историю реформы.

А. Уайлдмен исследовал такой важный аспект реализации Положений 19 февраля, как процесс подписания уставных грамот в 1861–1863 гг., названный им «определяющим моментом» в истории крестьянской реформы³⁷. В своем микроисторическом исследовании по Саратовской губ. он опирался на концепцию Дж. Скотта об «оружии слабых» – молчаливом «обыденном сопротивлении угнетенных» с целью добиться от господствующих классов определенных уступок или выгод. Отталкиваясь от классического исследования Д. Филда о наивном монархизме, построенного на идее о противостоянии двух «лагерей» – образованного европеизированного общества и неграмотного традиционного крестьянства – Уайлдмен использует антропологический подход, для которого концепция о «культурном расколе» и его трагических последствиях для истории страны не имеет серьезного значения. И потому процесс подписания уставных грамот он рассматривает как трехсторонние переговоры, в которых крестьянство выступало активным равноправным участником наряду с дворянством и правительством. Ход переговоров анализируется им также с позиций антропологии, которая приучила историков искать и находить в действиях крестьян определенные «культурные модели», полные символических и ритуализованных действий, не всегда понятных «чужакам». Подробнейшим образом вникнув в условия, установленные Положениями 19 февраля, и в обстоятельства каждой из 22 исследуемых сделок, Уайлдмен пришел к выводу,

что в большинстве случаев отрезки были сделаны по просьбам крестьян, поскольку это значительно уменьшало размер повинностей, в то время как в основе действий правительства в лице мировых посредников и помещиков лежало стремление через систему максимальных наделов получить как можно больший доход.

Процесс подписания уставных грамот отнюдь не был гладким, однако социально-культурный подход, трактующий окончательный результат как компромисс, достигнутый при вмешательстве и посредничестве властей, позволил Уайлдмену иначе оценить крестьянское сопротивление. На локальном уровне перед нами предстает картина коллективного политического действия крестьян, которое редко принимало насильственную форму. Чаще всего «брожение» носило показательный характер и являлось необходимой прелюдией к компромиссу, в результате которого крестьянам удавалось заставить своих противников дать то, что им *в данный момент* было нужно: сниженный оброк, «сиротский» надел, быстрый переход на выкуп без уплаты пресловутой $\frac{1}{5}$. Это служило сиюминутным целям, но шло в ущерб долговременным экономическим интересам³⁸.

Если Уайлдмен в своем исследовании во многом опирался на книгу Д. Филда о «наивном монархизме», то Р. Уортман в своем масштабном исследовании российской монархии предложил новую трактовку поставленного Филдом вопроса о причинах «мирного характера» эмансипации. В его прочтении дворянская оппозиция отмене крепостного права нейтрализовалась «символическими» средствами. Подавая себя как европейского, т.е. гуманного и цивилизованного монарха, Александр II не мог выступать защитником крепостничества, которое к этому времени уже стало в Европе анахронизмом. Более того, в европейской по сути системе ценностей просвещенной элиты этому институту не было места. В «сценарии любви», который является в трактовке Уортмана удачной моделью, при помощи которой можно описать царствование Александра II, нашлось подходящее место и освобождению крестьян. Реформа интерпретировалась как выражение особых уз любви, связывающих русского самодержца и народ.

Независимо от того, какую роль император играл в формулировании программы крестьянской реформы, он взял на себя задачу ее «презентации» подданным. Анализируя речи царя, его путешествия по стране и отклики прессы, а также изобразительные материалы, посвященные освобождению крестьян, Уортман показал, что эмансипация «подавалась» как акт величайшей любви, в котором не было места эгоистическим интересам, как величайшая жертва дворянства, откликнувшегося на призывы своего императора, дарующего благо реформ благодарному и преданному народу. Официальные тексты находили свое «визуальное подкрепление» в народных картинках, создававшихся профессиональными художниками. На лубках эпохи освобождения крестьян народ изображался коленопреклоненным, возносящим благодарность обожаемому царю³⁹.

В монографии Уортмана при всей актуальности культурно-семиотического подхода «репрезентации» крестьянской реформы, как и других крупных событий, предстают в качестве «культурного обрамления» давно известной исторической схемы. По-прежнему в центре внимания – проблема «увенчания» государственного здания конституцией, потенциал дворянского либерализма, а в конечном итоге – способность самодержавия «отвечать на вызовы современности». В рамках приблизительно той же историографической схемы находится и недавнее исследование Р. Изли, посвященное институту мировых посредников⁴⁰. Небольшая книга предлагает обновленный вариант политической истории, дополненный анализом социума и культуры, но в очень скромных масштабах. Признавая, что научные дискуссии о гражданском обществе в России зашли в тупик, автор, однако, считает, что при всей неопределенности термина он представляется удобной точкой отсчета для рассмотрения широких изменений, запущенных Великими реформами. В интерпретации Изли деятельность мировых посредников способствовала развитию публичной сферы, необходимой для возникновения гражданского общества. Процесс подписания уставных грамот она называет политической «школой», в которой требовалось согласовывать групповые и индивидуальные интересы, документировать споры и вырабатывать резолюции, неизбежно приходя к

какому-то компромиссу. Все это сделало возможной в недалеком будущем работу всеобщих административных и судебных учреждений. А уж затем гражданское общество двинуло Россию по пути западноевропейского социально-политического развития.

Если попытаться подвести итоги изучения отмены крепостного права в англоязычной историографии, то становится понятно, что более чем внушительные достижения 1960–1980-х гг. зиждились на теории модернизации, независимо от того, какие ее стороны выдвигались на передний план – экономические, политические, социальные или культурные. При этом наблюдалась определенная эволюция в сторону все более позитивных оценок и трактовок законодательства 1861 г., признания определенной исторической правоты за творцами реформ, которые лишь закладывали основы для последующего движения России по европейскому пути.

При взгляде же на «историографический ландшафт» последних 20 лет возникает ощущение, что с уходом в небытие модернизационной парадигмы зарубежные историки-русисты перестали отдавать должное Великой реформе и ее значению для истории России. К 150-летию юбилею они подходят с более чем скромными результатами, на что есть объективные причины. В динамично развивающейся русистике США и Канады, которая продолжает оставаться своего рода локомотивом для европейских и австралийских коллег, теория модернизации считается устаревшей по многим параметрам. И далеко не в последнюю очередь потому, что она выглядит «консервативной» с точки зрения методологии исследования, где к настоящему времени нашли применение более тонкие подходы к пониманию исторической действительности. В этой ситуации работы, опирающиеся сегодня на теорию модернизации, можно квалифицировать как своего рода «откат» в прошлое⁴¹.

Кроме того, в условиях, когда Российскую империю стали считать полноправным «членом семьи» европейских народов⁴², а проблема российской отсталости перестала быть *idée fixe* для большинства исследователей, отмена крепостного права утратила свою проблематичность и превратилась в непреложный факт, не требующий глубокого анализа. Если же говорить об исследовательской конъюнктуре, то для современной англоязычной историографии России наибольший интерес представляет другой период «быстрых изменений» – эпоха модерности, а точнее, период 1890–1940-х гг., по отношению к которому Великие реформы являются далекой предысторией. Либо же внимание историков сосредоточивается на «периодах стабильности», когда происходили, казалось бы, незаметные, но глубинные трансформации в структурах семьи, частной собственности, национальной и гендерной идентичности – это вторая половина XVIII в., николаевское царствование. В таком контексте отмена крепостного права и как крупное политическое событие, и как акт «социальной инженерии» оказывается вне поля зрения исследователей (или же выступает в качестве фона, на котором развивается изучение какой-либо проблемы).

Трудно предсказать, когда и в каком виде отмена крепостного права в России могла бы «вернуться» в англоязычную историографию. Это зависит от ряда факторов, в первую очередь от траектории развития исторической науки в предстоящие годы и от того, какие вопросы будут представляться актуальными практикующим историкам. Можно лишь отметить те «точки роста» в немногочисленных работах конца 1990-х – начала 2000-х гг., которые были уже зафиксированы в этой статье. Кроме того, в условиях сегодняшнего доминирования культурной истории несомненным потенциалом в изучении крестьянской реформы и связанных с ней проблем обладают работы, ассоциирующиеся с направлением «нового историзма» в литературоведении. Так, неприличное для нашей историографии измерение отмены крепостного права предлагается в статье А. Хруски «Любовь и рабство: Крепостничество, эмансипация и семья в художественной прозе Толстого», в которой ставится вопрос о взаимосвязи семьи и крепостничества как основ стабильности патриархальной структуры⁴³. Обычно проблемы такого рода историки отдавали на откуп литературоведам, но сегодня они занимают немаловажное место в англоязычной историографии России. Насколько продуктивным окажется симбиоз истории и литературы, покажет время.

Примечания

¹ *Blum J.* Lord and Peasant in Russia, from the Ninth to the Nineteenth Century. Princeton, 1961. См. также: *Zenkovsky S.* The Emancipation of the Serfs in Retrospect // *Russian review*. 1961. Vol. 20. № 4. P. 280–293. В американской историографии уже имелось к этому времени одно серьезное исследование русского крестьянства, считавшееся классическим: *Robinson G.* Rural Russia under the Old Regime: A History of the Landlord-Peasant World and a Prologue to the Peasant Revolution of 1917. N.Y., 1932. Для британской русистики тема крепостничества никогда не выглядела по-настоящему интересной: наличие этого «средневекового института» лишь усиливало давнее мнение британцев о крайней отсталости России, в то время как для США параллели с рабством и Гражданской войной лежали на поверхности. В Канаде и Австралии исследования отмены крепостного права развивались в соответствии со скромными масштабами русистики в этих странах и в тесной взаимосвязи с американской наукой.

² *Rieber A.* The Politics of Autocracy. The Hague, 1966; *idem.* Alexander II: A revisionist view // *Journal of modern history*. 1971. Vol. 43. № 1. P. 42–58; *Czap P.* Peasant-class courts and peasant customary justice in Russia, 1861–1912 // *Journal of social history*. 1967. Vol. 1. № 2. P. 149–178; *Emmons T.* The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipation of 1861. Cambridge (Mass.), 1968; *Field D.* The End of Serfdom: Nobility and Bureaucracy in Russia, 1855–1861. Cambridge (Mass.), 1976; *Lincoln B.* Nikolai Miliutin: An Enlightened Russian Bureaucrat of the Nineteenth Century. Newtonville, 1977.

³ *Domar E.D.* Were Russian serfs overcharged for their land by the 1861 emancipation? // *Agrarian Organization in the Century of Industrialization: Europe, Russia and North America* / Ed. by G. Grantham, C. Leonard. N.Y., 1989. P. 429–439; *Hoch S.L., Augustine W.R.* The tax censuses and the decline of the serf population in imperial Russia, 1833–1858 // *Slavic review*. 1979. Vol. 38. № 3. P. 403–425; *Hoch S.L.* On good numbers and bad: Malthus, population trends and peasant standard of living in late imperial Russia // *Slavic review*. 1994. Vol. 53. № 1. P. 41–75; *Wilbour E.* Was peasant agriculture really that impoverished? // *Journal of Economic History*. 1983. Vol. 43. № 1. P. 137–144; *Field D.* The polarization of peasant households in prerevolutionary Russia // *Agrarian Organization in the Century of Industrialization...* P. 497.

⁴ Об этом см.: *Field D.* The reforms of the 1860s // *Windows on the Russian Past* / Ed. by S.H. Baron. Columbus, 1977. P. 89–104; *Баўрай Д.* Аграрная структура и крестьянский протест: К условиям освобождения русских крестьян в 1861 году // Новейшие подходы к изучению истории в современной зарубежной историографии. Ярославль, 1997. С. 3–51 (пер. с нем. статьи: *Beyrau D.* Agrarstruktur und Bauernprotest: Zu den Bedingungen der russischen Bauernbefreiung von 1861 // *Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*. 1977. Bd. 64. H. 2. S. 179–236); *Baron S.* The transition from feudalism to capitalism in Russia: A major Soviet historical controversy // *American Historical Review*. 1972. Vol. 77. P. 715–729; *Gleason A.* The Great reforms and the historians since Stalin // *Russia's Great Reforms, 1855–1881* / Ed. by B. Eklof et al. Bloomington, 1994. P. 1–16.

⁵ *Gershenkron A.* Problems and patterns of Russian economic development // *The Transformation of Russian Society*. Cambridge (Mass.), 1960. P. 42–71; *idem.* Agrarian policies and industrialization: Russia, 1861–1917 // *Cambridge Economic History of Europe*. Vol. 6. Pt. 2. Cambridge, 1965. P. 706–800.

⁶ *Готтрелл П.* Значение Великих реформ в истории экономики России // Великие реформы в России. 1856–1874 / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992. С. 124; *Gatrell P.* The Tsarist Economy, 1850–1917. L., 1986; *Crisp O.* Studies in the Russian Economy before 1914. L., 1976. P. 95.

⁷ *Domar E.D., Machina M.J.* On the profitability of Russian serfdom // *Journal of Economic History*. 1984. № 4. P. 919–955.

⁸ *Skerpan A.* The Russian national economy and emancipation // *Essays in Russian History* / Ed. by A. Ferguson, A. Levin. Hamden, 1964. P. 176.

⁹ *Field D.* Rebels in the Name of the Tsar. Boston, 1976; *Bohač R.* Everyday forms of resistance: Serf opposition to gentry exactions, 1800–1861 // *Peasant Economy, Culture, and Politics of European Russia, 1800–1921* / Ed. by E. Kingston-Mann, T. Mixer. Princeton, 1991. P. 236–260.

¹⁰ *Emmons T.* The Russian Landed Gentry... P. 33–36.

¹¹ *Lincoln W.B.* The Great Reforms: Autocracy, Bureaucracy and Politics of Change in Imperial Russia. DeKalb, 1990; *idem.* In the Vanguard of Reforms: Russia's «Enlightened Bureaucrats», 1825–1861. DeKalb, 1982; *Perrie M.* Alexander II: Emancipation and Reform in Russia, 1855–1881.

L., 1989; *Mosse W.E.* Alexander II and the modernization of Russia. L., 1958; *Pereira N.* Alexander II and the decision to emancipate the Russian serfs, 1856–1861 // *Canadian Slavonic Papers*. 1980. № 22. P. 99–115; *idem.* Tsar-liberator: Alexander II, 1855–1881. Newtonville, 1983; *Miller F.* Dmitrii Miliutin and the Reform Era in Russia. Nashville, 1968; *Wortman R.* The Development of a Russian Legal Consciousness. Chicago, 1976.

¹² *Field D.* The End of Serfdom... P. 360. См. также: *Kolchin P.* Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom. Cambridge (Mass.), 1987.

¹³ *Emmons T.* The Russian Landed Gentry... P. 14.

¹⁴ *Rieber A.* Bureaucratic politics in imperial Russia // *Social Science History*. 1978. Vol. 2. № 4. P. 399–411; *Рубер А.* Групповые интересы в борьбе вокруг Великих реформ // Великие реформы в России. М., 1992. С. 44–72. Однако такое буквальное перенесение категорий американской политической науки на российскую почву не нашло своих последователей.

¹⁵ См., в частности, определение бюрократического либерализма как синтеза либеральной доктрины и *raison d'état*: *Kipp J.W.* M.Kh. Reutern on the Russian state and economy: A liberal bureaucrat during the Crimean era, 1854–1860 // *Journal of Modern History*. 1975. Vol. 47. № 3. P. 437–459.

¹⁶ *Lincoln W.B.* In the Vanguard of Reforms...

¹⁷ См., в частности: *Civil Rights in Imperial Russia* / Ed. by O. Crisp, L. Edmondson. Oxford, 1989.

¹⁸ *Shanin T.* An awkward class. L., 1972; *idem.* Russia as a Developing Society. L., 1985; *Landscape and Settlement in Romanov Russia, 1613–1917* / Ed. by J. Pallot, D. Shaw. Oxford, 1990; *Moon D.* Russian Peasants and Tsarist Legislation on the Eve of Reform. L., 1992; *idem.* The Russian Peasantry, 1600–1930: The World the Peasants Made. L., 1999. Нельзя не упомянуть и о серьезном вкладе Т. Шанина в развитие крестьяноведения в нашей стране. См., в частности: Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире / Пер. с англ. Хрестоматия. Сост. Т. Шанин. М., 1992.

¹⁹ *The Peasant in Nineteenth-Century Russia* / Ed. by W.S. Vucinich. Stanford, 1968; *Hoch S.L.* Serfdom and Social Control: Petrovskoe, a Village in Tambov. Chicago, 1986; *Land Commune and Peasant Community in Russia: Communal forms in imperial and early Soviet history* / Ed. by R.L. Bartlett. L., 1990; *Peasant Economy, Culture, and Politics of European Russia...*; *Atkinson D.* The End of the Russian Land Commune, 1905–1930. Stanford, 1983; *Worobec Ch.W.* Peasant Russia: Family and Community in the Post-Emancipation Period. Princeton, 1991; *Russian Peasant Women* / Ed. by B. Farnsworth, L. Viola. N.Y., 1992; *The World of the Russian Peasant: Post-Emancipation Culture and Society* / Ed. by B. Eklof, S. Frank. Boston, 1990.

²⁰ *Macey D.A.* Government and Peasant in Russia, 1861–1906: The Prehistory of the Stolypin Reforms. DeKalb, 1987; *Wcislo F.* Reforming Rural Russia: State, Local Society, and National Politics, 1855–1914. Princeton, 1990; *Deal Z.J.* Serf and State Peasant Agriculture: Kharkov Province, 1842–1861. N.Y., 1981.

²¹ *Hoch S.L.* The banking crisis, peasant reform and the redemption operation in Russia, 1860–1870 // *American Historical Review*. 1991. № 2. P. 155–187.

²² *Wcislo F.* Reforming Rural Russia... P. 28.

²³ *Crisp O.* Studies in the Russian Economy... P. 19.

²⁴ *Wilbour L.* Russia's poverty in theory and practice: A view from Russia's «impoverished center» at the end of the nineteenth century // *Peasant Economy, Culture, and Politics of European Russia*. P. 100; Wheatcroft S. G. Crises and the condition of the peasantry in late imperial Russia // *Ibid.* P. 128–172.

²⁵ *Burbank J.* Legal culture and citizenship in Russia: Perspectives from early twentieth century // *Reforming Justice in Russia, 1864–1994: Power, Culture, and the Limits of Legal Order* / Ed. by P.H. Solomon. N.Y., 1997. P. 82–106; *Frierson C.* On red roosters, revenge, and the search for justice: Rural arson in European Russia in the late imperial era // *Ibid.* P. 107–128; *eadem.* «I must always answer to the law...» Rules and responses in the reformed volost' court // *Slavonic and East European Review*. 1997. Vol. 75. № 2. P. 308–334.

²⁶ *Land Commune and Peasant Community in Russia...*

²⁷ Материалы конференций были опубликованы в следующих сборниках: *Reform in Russia and the USSR: Past and Prospects* / Ed. by R. Crummey. Urbana, 1989; *Russia's Great Reforms...*; *Reform in Modern Russian History: Progress or Cycle?* / Ed. by T. Taranovsky. Cambridge, 1995; *Великие реформы в России...*

²⁸ Kingston-Mann E. In Search of the True West: Culture, Economics, and the Problem of Russian Development. Princeton, 1999. P. 4. Рассмотренная Кингстон-Манн система взглядов позже легла в основу теории модернизации, надолго определившей угол зрения исследователей на исторический процесс.

²⁹ См.: Frierson C. Peasant Icons: Representation of Rural People in Late Nineteenth Century Russia. N. Y., 1993; Kingston-Mann E. In Search of the True West...; Kotsonis Y. Making Peasants Backward: Agrarian Cooperatives and the Agrarian Question in Russia, 1861–1914. N. Y., 1999; Burbank J. Russian Peasants Go to Court: Legal Culture in the Countryside, 1905–1917. Bloomington, 2004.

³⁰ См. дискуссию об отсталости на страницах бюллетеня американской Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований: Debating «backwardness» in Russian history // NewsNet. March 2007. Vol. 47. № 2.

³¹ Gaudin C. Ruling Peasants: Village and State in the Countryside, 1905–1917. DeKalb, 2007.

³² Ibid. P. 5.

³³ Ibid. P. 210–211.

³⁴ Burds J. Peasant Dreams and Market Politics: Labor Migration and the Russian Village, 1861–1905. Pittsburgh, 1998; Gorshkov B.B. Serfs on the move: Peasant seasonal migration in pre-reform Russia, 1800–1861 // Kritika. 2000. Vol. 1. № 3. P. 627–656; Kerans D. Toward a wider view on the agrarian problem in Russia, 1861–1930 // Ibid. P. 657–678; Moon D. Russia's rural economy // Ibid. P. 679–689; Hoch S. Famine, disease, and mortality patterns in the parish of Borshevka, 1830–1912 // Population Studies. 1998. № 52; Wheatcroft S.G. The 1891–92 famine in Russia: Towards a more detailed analysis of its scale and demographic significance // Economy and Society in Russia and the Soviet Union, 1860–1930. N.Y., 1992. P. 44–64; Kerans D. Mind and Labor on the Farm in Black-Earth Russia, 1861–1914. Budapest, 2001; Engel B.A. Between the Fields and the City: Women, Work, and Family in Russia, 1861–1914. Cambridge, 1994; Worobec C.D. Possessed: Women, Witches, and Demons in Imperial Russia. DeKalb, 2001.

³⁵ Hoch S.L. On good numbers and bad... P. 41–75; *idem*. The serf economy and the social order in Russia // Serfdom and Slavery: Studies in Legal Bondage / Ed. by M.L. Bush. Oxford, 1996; *idem*. Did Russia's emancipated serfs really pay too much for too little land? Statistical anomalies and long-tailed distributions // Slavic Review. 2004. Vol. 63. № 2. P. 247–274.

³⁶ Hoch S.L. Did Russia's emancipated serfs... P. 248, 262, 274.

³⁷ Wildman A.K. The Defining Moment: Land Charters and the Post-Emancipation Agrarian Settlement in Russia, 1861–1863. Pittsburgh, 1996.

³⁸ Ibid. P. 24–26, 47–48.

³⁹ Wortman R. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy from Peter the Great to the Abdication of Nicholas II. Princeton, 2006. P. 205–206; Wortman R. Lubki of emancipation // Picturing Russia: Explorations in Visual Culture / Ed. by V.A. Kivelson, J. Neuberger. New Haven, 2008. P. 90–95; Уортман Р. «Глас народа»: визуальная репрезентация российской монархии в эпоху эмансипации // Петр Андреевич Зайончковский. Сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008. С. 429–450.

⁴⁰ Easley R. The Emancipation of the Serfs in Russia: Peace Arbitrators and the Formation of Civil Society. L., 2009.

⁴¹ Особенно «консервативными» выглядят сегодня трактовки отмены крепостного права в России в учебной англоязычной литературе, не склонной, как это свойственно текстам такого жанра, учитывать новейшие достижения науки. А в учебнике британца Д. Муна, претендующем на подведение итогов изучения темы, крестьянская реформа предстает в том виде, как ее трактовали исследователи в 1970-х гг.: Moon D. The Abolition of Serfdom in Russia, 1762–1907. Harlow, 2001.

⁴² См.: Russia in the European Context, 1789–1914: A Member of the Family / Ed. by S.P. McCaffray, M. Melancon. N. Y., 2005.

⁴³ Hruska A. Love and slavery: Serfdom, emancipation, and family in Tolstoy's fiction // The Russian Review. 2007. Vol. 66. № 4. P. 627–646. Статья представляет собой часть будущей книги о том, как русские писатели пересматривали значение семьи в связи с отменой крепостного права.